

МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЕР

I

— Ну, иди, иди, идоленок, голову оторву... змеиное отродье!..— разнеслось в морозном вечернем воздухе.

Грязный, всклокоченный, с головы до ног пропитанный угольной пылью шахтер с озлобленной торопливостью и угрозой по всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо уходившим впереди него.

Мальчик тоже был черен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, взволнованно махая руками и своей физиономией и всеми движениями выражая самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятка, не буду работать, пусти... Что ж это, всем праздник, один я... пусти, не буду работать...— упрямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное расстояние между собой и своим спутником.

— Ах ты идол! Вот, прости господи, навязался на мою душу грешную!

И оба они продолжали торопливо идти по чернев-

шей дороге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. Последний холодный отблеск зимней зари потухал на далеких облаках, и уже зажигались первые звезды, ярко мерцая в синевшем небе. Мороз кусал за щеки, за нос, за уши, за голые ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом стояла та особенная тишина, которая почему-то обыкновенно совпадает с кануном рождественских праздников. Темные окна в домах засветились, маня теплом и уютностью семейного очага.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели груды угля показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижно черневшей на ясном небе трубой. Из дверей выходили шахтеры и кучками расходились по разным направлениям, спеша в бани.

Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал последнюю попытку сопротивления.

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем праздник...

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, мальчишка юркнул в двери. Шахтер последовал за ним.

Они очутились в громадном темном помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же находилась и контора. Возле нее толпилась последняя кучка рабочих, спешивших поскорей получить расчет и отправиться в баню, а некоторые — прямо в кабак.

Праздники, полная свобода, возможность пользоваться воздухом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от которой так отвыкают за рабочее время, и предстоящий трехдневный разгул и пьянство кляли особенный отпечаток оживленного ожидания на их серые лица.

Шахтер подошел к конторке.

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря баловать.

Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно.

Три дня рождественских праздников он проведет в шахте. Дело было кончено, и поправить было нельзя.

Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские слезы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик.

Черный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом шахтер, дожидавшийся расчета у конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под наспуленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил сигарку, послюнил ее и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с широкой черной мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь? — равнодушно проговорил он, отряхая остатки засевавшего между пальцами табаку.

— Не я неволю, нужда неволит; все недостаца да недохватки. Тоже трудно стало, то ись до того трудно — следов не соследишь, — и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с чего у него пошло все врозь и стало трудно.

Шахтер молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом, и не слушая, что ему говорил собеседник, закурил. Бумага на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна черты и огромные белые, как у негра, белки глаз.

— На малую водокачку в галерею номер двенадцать которые? — проговорил, повышая голос, конторщик.

Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.

— Здесь, — проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, заспанное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспросыпном пьянстве.

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика.

— Чего суετε-то мне помет этот! Чего мне с ним делать?..

— Ну, ну, иди, не разговаривай.

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы все...— И он грубо скверными словами выругался и пошел к срубе, уходявшему сквозь пол в глубину земли.

Мальчик молчаливо и безнадежно последовал за ним. Они подошли к четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой зияющее четырехугольное отверстие.

Когда клетка исчезла и на том месте, где за минуту был мальчик, остался темный провал, рабочий в башмаках почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтеру:

— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку — тоже хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и потом повернулся к конторке получать расчет.

II

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное, угрюмое состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон обступит мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал затрудненное, сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей перспективы провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле, трудно ведь после непрерывной двухнедельной гульбы, попок, приятной, беззаботной обстановки трактира, гостиниц, кабака отправляться в холодную, сырую шахту, в то время как другие как раз собираются всё позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке.

Не идти же в шахту не было никакой физической возможности: все, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, бельем,— все было пропито, все было заложено, перезаложено, везде, где только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улице, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет плата в двойном размере.

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие — клад горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо всегда иметь известный контингент рабочих, иначе ее может залить; шахтера же ни за какие деньги не удержать в такой праздник, как рождество, под землей.

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из нее на площадку. Красные огни ламп, колеблясь, дымили среди густого, нависшего над самой головой мрака. К подъему торопливо подходили запоздавшие рабочие. Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна за одной выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и отводил лошадей в темную, могильную конюшню: им тоже предстоял трехдневный рождественский отдых.

Финогенов зажег лампу, сделал папиросу, закурил и стал глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб еще хоть немного оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности и тяжелого сознания, что приходится провести праздники не «по-людски».

— Что, Егорка, али облетел? — проговорил, подходя с дымившей над самой землей на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть, — небрежно, прибавляя за каждым словом брань, проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест: что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трын-трава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль! — крикнул штейгер, стоя возле отверстия уходившего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в клетку вместе с штейгером и другими

подымавшимися навверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул,— злобно крикнул Финогенов на мальчика, точно тот был виноват во всем.

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, чтоб не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты.

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко и разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей; но со всех сторон угрюмо и непрерывно надвигалась такая густая, непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая дорогу, и опять, согнувшись и слабо посвечивая из-за себя лампой, шел все дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они прошли уже около двух верст, и стало сказываться утомление. Галерея понижалась, становилась уже, теснее, свод нависал над головой все ниже и ниже, и обоим приходилось еще больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и все чаще стал спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном говоре и веселье гостиниц и трактира с покрывавшим их медным звоном тарелок, бубенчиков, ударами барабана и ревом огромных труб «машины». Яркие картины праздничного веселья были подавлены усталостью и напряжением.

«Хоть бы дойти скорей»,— и он напряженно вслушивался, не слышать ли впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь слышались глу-

хие усталые шаги по неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу.

И они продолжали идти среди холода, сырости и молчания подземной галереи.

— Никак, качают? — вдруг проговорил Финогенов.

Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили странные, однообразные, унылые звуки человеческого голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре... — доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здесь, — проговорил Сенька, и оба пошли вперед.

Вероятно, там, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не было видно — ни огня, ни людей. И только когда они совсем подошли и Егор поднял свою лампу, они увидели двух смутно выступавших из мрака шахтеров, поблескивавшую внизу воду и рукоять небольшой помпы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места и не надо больше гнаться и спотыкаться среди темноты.

Шахтеры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли свою лампу, вытрусил из башмаков набившийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго? — проговорил угрюмо один из них.

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик позадержал, — равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки и начиная крутить сигарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг заговорил быстро и сердито: — Долго! а кабы совсем не пришли? Люди теперича праздник встречают, все чесь чесью, а мы вон сюда перлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а ты сиди тут да гни спину... Черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел... Дурак, чисто дурак!

— А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только нажраться, а ты хоть сдыхай...— И Егор торопливо и в самых отборных выражениях старался излить все свое огорчение и досаду.

— Да будет вам,— проговорил другой шахтер, взяв лампочку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, становясь все меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил сигарку, подряд затянувшись несколько раз.

— Ну, вот что, Сенька,— заговорил он, швырнув в воду зашипевший там окурок,— становись ты спервоначалу и качай, да считай, сколько разов качнешь; как досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не брешь, смотри, я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели присчитывать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь,— проговорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же, возле, места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпанного мелкого угля.

— А впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь свое, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупку дам,— донеслось до Сеньки из темноты, и потом все стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашел ручку помпы и, сделав усилие, качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слышно — тоненькая струйка, неровно и прерываясь, побежала в желоб.

— Ра-аз,— проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и

его голос одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая воду.

Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает привычный к дальним дорогам конь, когда он вляжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго придется идти этой мерной, неспешной поступью.

Он позабыл все, что волновало его сегодня и что осталось там, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом счете и заключалась вся суть и необходимость его пребывания здесь — в сырой, холодной, непроницаемой мгле.

Впрочем, он это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и нараставшего неопределенного страха. Таинственное молчание, тьма все время неподвижно стояли вокруг, злоеще дожидаясь, чтобы незаметно обнаружить перед ним ужасное и пока скрываемое.

Сенька не представлял себе ясно, что это было, но постоянно чувствовал его присутствие. Сейчас вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, и бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог сознавать окружающее, и оттого то, что происходило там, принимало особенный, таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счета и, спохватившись, торопливо и наобум останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно считать, и опять на него надвигались молчание и тьма, и в проходах снова начиналась возня. Неуловимое, изменчивое и слепое то волновалось во мраке, меняло очертания, заполняя собою все пространство, то свертывалось, оставляя попрежнему безжизненную пустоту и мертвое молчание.

И особенно ужасно было то, что там отлично понималось, что он громко считает и сосредоточенно качает помпу лишь для того, чтобы скрыть все больше охватывающий страх. Чудилась насмешливо белевшая впотьмах улыбка, беззвучный, не нарушавший мертвое молчание смех. А он продолжал качать, ему становилось тесно,

трудно дышать, и пот каплями падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал за сто.

Вода все прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжелую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось прерывистое дыхание.

Кругом было все то же; мрак редел, разрывался, принимал неопределенные формы, шевелился. Сенька закрыл глаза и работал с закрытыми глазами, но это — еще страшнее.

«О господи!.. да воскреснет бог...» — и под низко нависнувшим сводом печально пронесся вздох.

Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа, медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала-опускала поршень.

«Зальет!..»

Он сделал последнее отчаянное усилие, налег на рукоять. Поршень прошел донизу, чмокнул, засосал, подергался и остановился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло дикое и безобразное.

— Дяденька!.. немоготу работать... — пронесся среди прекратившейся работы и наступившей гробовой тишины странный, совершенно незнакомый Сеньке голос. «Аха-ха-хх... гоооггоо... моготу-у-у...» — донеслось до него отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак за клубился, и все заволновалось в необузданной дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся идти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не было.

— Дя-адя Егoooор...

«О-oooo... ух-ух... ух...» — отдавалось глухо и подавленно.

Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не могло быть, и он не пытался выйти из своего положения, отдался на произвол судьбы: «Все равно». Вода подымалась все выше и выше, и мокрые штаны липли к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того света не проговорил:

— Ну, чего воешь, сволочь? Воды-то сколько нашло!

Крепкая затрещина по уху Сеньке мгновенно разогнала весь этот дикий, творившийся вокруг него кардак.

Сенька так обрадовался, как будто очутился на поверхности и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него поплевал в руки, и помпа заработала часто и сильно, правда всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали разжалобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.

— Дай спичку.

— Но-о, дам спичку портить!..

— Темно.

— Найдешь. По-над стенкой, а там направо.

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего уже не было, за исключением холода и сырости. Эхо отдавалось глухо и обыкновенно.

Он добрался до «лавки» — место выработки угля, где можно было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улегся. Уголь понемногу раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости черного хлеба и стал есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь отдышал.

Сенька доел хлеб, перекрестился. «Кабы теперь в баню», — подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы пришел сон.

III

Сон пришел, и стало ему сниться все то, чего ему так страстно хотелось. Стало ему сниться, будто он на поверхности; кругом идет шум и гомон праздничного веселья. Он идет по улице; снег ослепительно сверкает на солнце; мимо скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя башмаков: они примерзли у него к

ногам. Пока он возился с ними, оказалось, что это не баня, а трактир; хоть и странно немного было, что в трактире валялись шайки, по полу стояли лужи воды, а с потолка и со стен капало, это, однако, не нарушало общего веселья и оживления. Говор, шум, звон, веселые красные потные лица сквозь синие слои табачного дыма странно мешались в одно смутное, не вязавшееся с холодом, сыростью, всюду сочившейся водой. Сенька старался разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова.

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали воду. Он с ужасом видел эту черную дыру, брыкался, кусал, раскорячивал ноги, с остервенением закричал: «Душегубы проклятые!..» Отец ткнул его кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал судорожно и безнадежно.

И раздался голос:

— Ну ты, дьяволенок, вставай!

И опять его больно ткнули в бок.

Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом, сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался Егорка и все тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану,— протянул Сенька, с усилием подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги заоченели, ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду сворочу!.. Цельный час с ним тут бейся! — шумел Егор.

Сенька наобум, сам не зная — куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к холодной мокрой стене.

— Дяденька, у меня мочи нету.

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор.

Сенька, пересиливая себя и глотая слезы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать.

Кругом водворилась тишина, и по-прежнему все было неподвижно, угрюмо, безнадежно.

Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как падающие в одно и то же место капли, повторял в темноте: «Тридцать два-а... тридцать три-и... тридцать четыре...»